# Перед памятником Пушкину в Одессе

***Якову Гордину

Не по торговым странствуя делам,
разбрасывая по чужим углам
свой жалкий хлам,
однажды поутру
с тяжелым привкусом во рту
я на берег сошел в чужом порту.

Была зима.
Зернистый снег сек щеку, но земля
была черна для белого зерна.
Хрипел ревун во всю дурную мочь.
Еще в парадных столбенела ночь.
Я двинул прочь.

О, города земли в рассветный час!
Гостиницы мертвы. Недвижность чаш,
незрячесть глаз
слепых богинь.
Сквозь вас пройти немудрено нагим,
пока не грянул государства гимн.

Густой туман
листал кварталы, как толстой роман.
Тяжелым льдом обложенный Лиман,
как смолкнувший язык материка,
серел, и, точно пятна потолка,
шли облака.

И по восставшей в свой кошмарный рост
той лестнице, как тот матрос,
как тот мальпост,
наверх, скребя
ногтем перила, скулы серебря
слезой, как рыба, я втащил себя.

Один как перст,
как в ступе зимнего пространства пест,
там стыл апостол перемены мест
спиной к отчизне и лицом к тому,
в чью так и не случилось бахрому
шагнуть ему.

Из чугуна
он был изваян, точно пахана
движений голос произнес: ‘Хана
перемещеньям!’ — и с того конца
земли поддакнули звон бубенца
с куском свинца.

Податливая внешне даль,
творя пред ним свою горизонталь,
во мгле синела, обнажая сталь.
И ощутил я, как сапог — дресва,
как марширующий раз-два,
тоску родства.

Поди, и он
здесь подставлял скулу под аквилон,
прикидывая, как убраться вон,
в такую же — кто знает — рань,
и тоже чувствовал, что дело дрянь,
куда ни глянь.

И он, видать,
здесь ждал того, чего нельзя не ждать
от жизни: воли. Эту благодать,
волнам доступную, бог русских нив
сокрыл от нас, всем прочим осенив,
зане — ревнив.

Грек на фелюке уходил в Пирей
порожняком. И стайка упырей
вываливалась из срамных дверей,
как черный пар,
на выученный наизусть бульвар.
И я там был, и я там в снег блевал.

Наш нежный Юг,
где сердце сбрасывало прежде вьюк,
есть инструмент державы, главный звук
чей в мироздании — не сорок сороков,
рассчитанный на череду веков,
но лязг оков.

И отлит был
из их отходов тот, кто не уплыл,
тот, чей, давясь, проговорил
‘Прощай, свободная стихия’ рот,
чтоб раствориться навсегда в тюрьме широт,
где нет ворот.

Нет в нашем грустном языке строки
отчаянней и больше вопреки
себе написанной, и после от руки
сто лет копируемой. Так набегает на
пляж в Ланжероне за волной волна,
земле верна.***